

КАК Я ПОБЫВАЛ НА СВОЕЙ МОГИЛЕ

Во мне живет душа маленькой девочки, убитой коровой. Помню свое двухлетнее тельце, южное жаркое лето смяло на полу ситцевое платьице. В трусишках, босая, по еще горячим от долгого дня порожкам, бегу во двор. Пишешь «бегу», на самом деле слово другое. В беге четкость, в движениях ребенка – расхлябанность кашки, несогласованность пюрешки, что-то от киселя. Хочешь мяч поймать – а он мимо рук, слишком быстрый, слишком круглый, а руки медленные, и все медленное. Бог с ним, недолго мне осталось бегать. Вперевалочку, слово, наверное, это. С кружкой, кружка у меня в ручках жестяная. С зайцем!

Отворяю калитку, проскальзываю в коровник, там тепло и знакомо. Корова – да как ее звали, Мура? – вернулась из стада, наелась травы, налилась выменем. Мама журит – да как меня звали, Маша? – из вымени журчит в ведро. Мать отворачивается, соседка, может, окликнула, петух кукарекнул, кот с бочка на бочок перекатился в сытости чердачка. Мама отворачивается, я подхожу к корове сзади. Последнее, что я слышу, – мычание и крик. Корова копытом в лоб.

Описания посмертия банальны. Я толком и не понял, что случилось, от суеты в коровнике ускользнул быстро. Двигался теперь легко, как скользкий. Веселился, хохотал, прошел сквозь стог сена, сквозь воду в речке. Скоро стемнело, вернулся. Лег

к маме в кровать. А она – деревянная, только плачет. Деревья плачут? Березы весной, их слезы сладкие. Значит, мама – береза.

Кровать папы пустая. Старшей сестры тоже нет. Брат сидит на кушетке, держит голову руками. Кот на меня глядит, шипит, бросается. Брат поднимает взгляд и цыкает, кот не прекращает. Брат орет: «Брысь!», кот не уходит. Брат вышвыривает кота за шкуру, вот тебе раз, и никаких больше свидетелей.

На этом воспоминание обрывается, и в следующем кадре я четырехлетний мальчик Миша, отчаянно воюющий со шнурками. Миша я и сейчас, только постарше. А галиматъя вся эта всплыла в отключке, в медитации. Однажды притащила на йогу подружка, потому что осознанность. А тут – это. Непереносимость лактозы у меня, оказывается, древняя, кармическая.

Я шучу, потому что я веселый, но на самом деле мне страшно. Подружка приходит в платьице бэбидолл, а я думаю, что у меня когда-то было похожее. Снимать платье с нее не хочется, ничего не хочется. Хочется к маме в кровать. Той маме, которая меня знать не знает, с которой не виделись лет пятьдесят. Должно быть, умерла уже. Так ведь и я умер, чем черт не шутит.

Я автомат для существования, кроме неприятной органики и углекислого газа, производжу про-

духт, который поддерживает существование других. Усталой рукой вношу правки – доходы после нашего курса вырастут не на 30 процентов, а на 36,6. Я где-то читал, что люди отзывчивы к физиологически значимым цифрам. Замерим конверсию, тест. Я автомат для тестирования гипотез, я автомат для эффективности, я автомат с томатным соком, теплым, еще и густеет, бе.

Подружка снова тащит на йогу, и я иду, потому что я автомат для любви и потакания ей. Я особо не гнусь – не та конфигурация сборки, но в шавасане меня уносит дальше всех. В шавасане лето, и мне два года, и корова бьет меня копытом в лоб снова и снова, чтоб я проснулся, но я не просыпаюсь, и только удар длится вечность. Наверное, что-то пошло не так. Может, моя жизнь – это просто ад той маленькой девочки. Может, она была жутко злая. Может, я сам во всем виноват.

Я никогда не видел отца. Ни нынешнего, ни прошлого. Нынешняя мать мной гордится – а ну-ка, в Москве, а ну-ка, зарабатываю, а ну-ка, красавцем вырос. Подружка, правда, дура, но то ж не жена? Ты не женись, сынок, тридцать три – это ерунда. Обожди, обожги свое сердце любовью, когда ее встретишь. Так, конечно, не говорит, это я так пишу. Люблю, когда красиво, это все, что мне остается.

Одно из видений повело меня дальше. Я увидел свою мать пузатой, за стекло серванта воткнута моя фотокарточка, мать вяжет, мать пытается родить меня заново. Новая я была тоже девочка, долго же я там пробыл, раз это увидел, – девять месяцев на вынос, пара-другая на скорбь. Или раньше? Да не все ли равно, жадный, что ли. О, наткнулся на календарик на стене. Год 1968-й, а значит, я родился в 1965-м. Мог бы внуков нянчить. А сестрица сейчас чуть старше пятидесяти. Если ее в коровник в детстве не пускали. Бьет копытом в лоб, возвращаюсь. Мура, прекрати!

Понятия не имею, что делать. Рассказал подружке, она говорит, что за то меня и любит, за фантазию, за необычность. Я ее люблю за жопу, но и это уже все равно.

Я должен найти мать. Как искать то, что привиделось? Смотреть дальше, вглубь, в воду. К черту класс йоги, все сам могу. Собака мордой вверх, собака мордой вниз, кошка брюхом влево, шавасана. Мать пузатая, мать сидит, я в серванте, новая девочка в животе. Сделать усилие воли и выскользнуть из дому. Так, дорога, полный грузовик, везут зерно. За ним! Деревенская деревня вокруг, ребятишки, босяки, не случилось нам вместе играть. Бабка на лавке следит за мной взглядом – муть в глазах, она

слепая. Дальше, вперед, за стружкой зерна, что сыпется из кузова. Вот, выезд. На табличке написано: «Бесстрашная».

Гугл говорит: «Станица в Отрадненском районе Краснодарского края». До ближайшей гостиницы ехать минут тридцать, от Москвы часов двадцать. В отпуск поустят через две недели. Набрешу всем про ретрит в горах.

Две недели жизни как в горячке. Подружка вздыхает и ждет, когда я уже вернусь. А я смогу вернуться не раньше, чем уеду. «Несносный, невыносимый, любимый», – сладко щебечет, заламывает крылья. Я не знаю, куда я и что я увижу, и взять тебя с собой не могу.

Думал гнать сутки не отрываясь. На деле часов через десять взвыл и ушел отдыхать в придорожный мотель. Там не спал, картонные стены, слышно и стон, и смех, по потолку всю ночь бегут фары. Белье грязное, даром что стираное. Стучалась женщина, соблазняла закрытую дверь, дышала, хрипела. Не открыл. Продрал глаза, выпил 3 в 1 – из фольгированного пакетика в пластиковый стакан, из стакана в мой бессонный рот. Хрустнул шеей, сел за руль, поехал.

По предгорью кружил пару лишних часов, табличка та же – не поменяли. Вышел, оставил машину, пошел пешком и тут понял, что никогда не видел дом. Зыркнет с лавки кто – так ведь даже спросить нечего. Шел вперед и ждал, когда в груди мелькнет смутное чувство узнавания. В груди было пусто. Здравствуй, Миша, ты поехал крышей. По деревне бредешь, смерть свою ищешь.

Уже в отеле пытался вспомнить дом, шавасана не шавасилась, а вот душу сгрызло отчаяние. Отрубил все, как кусок мяса от куска мяса мясорубкой. Может, я вообще все испортил и нельзя было приезжать. Если б это было мое место, разве б убило меня коровой? Что за смерть вообще такая идиотская? Не гусеница танка, не чих незнакомца, спонтанный гнев священного животного. Прежде был индусом и страшно налажал? Не хочу об этом ничего знать, я и с прошлой инкарнацией разобраться не в состоянии.

К утру стало ясно, что нужно ехать на кладбище – ведь я помню свое лицо, маму, брата. За день смогу все обойти, кто-то да найдется. Сбрызнуть лицо водой, надеть кроссы, взять воду с собой – август, прощальный вздох лета. Та же табличка, та же деревня. Страшная деревня, «бес» не приставка, а второй корень. Кладбище на холме, на окраине, деревянный, в бирюзу крашенный, забор. Калитка закрывается на шпингалет.

Рысью рыскаю, вою волком. Заросло, но почти ухоженно. У самой ограды могилы с одинаковыми табличками без фото, судя по датам – старые старики из престарелого дома. Залихватский дядюшка – ясен-красен, спился. Хорошая бабушка и еще одна хорошая бабушка – разница в возрасте лет двадцать, наверное, мама с дочкой. Мальчик лет четырнадцати, уж этого не корова, кобыла, может. Маленькая девочка без фото, сколько, год? Нет, не я. Вперед и вперед, сквозь косточки, памятники, пение птиц.

Деревьев вокруг дуром, трава пожелтела, сверху чуть сыпет желтыми листьями. Слышно, как сыпет, слышно, как лист под ногою хрустит. Памятники – металл и камень, кресты – дерево. Расти, чтобы стать чьим-то крестом, – почти человеческая судьба. Не такое уж оно и маленькое, это кладбище. По главной аллее минуты за три пройдешь, но если идти вглубь и смотреть на каждого, не хватит и три дня. Я хожу уже несколько часов, но все еще ничего не нашел. Шугнулса, когда зашевелилось, – веночек на свежей могиле зашевелился, а я встал, как по горло закопанный. То ящерица, ящерица. Зеленый дракончик.

Два дня сухих библиотечных поисков. Каталог в вашей библиотеке никакой, даже алфавита нет. Вместо книжек – одни корешки. Но я двигаюсь дальше и дальше, заведенный моторчик, поезд по шпалам. К третьему дню есть подозреваемые – двухлетка и бабушка, по годам, мама. Ребенок без фото, мать уже в возрасте – ничего непонятно. Смущают даты, девочка лет на пять меня младше, ну, я так думаю. На чувство не полагаюсь, нет никакого чувства. Отрубило, отрезало.

В конце главной аллеи высокая береза. Их тут почти не водится, я видел только парочку мелких. Чуть левее движение, ящерица? Нет, спина. Наспех стряпаю ложь, полуправду – отсюда мой отец, фамилия пусть будет Иванов, ищу вот, не знаете, что да как? Подхожу ближе, старик, лет восемьдесят, не младше. Он не глядит на меня, глядит на памятник. На табличке фото из серванта. Я знаю, мой отец – он.



ОТКРЫТКА

Девочке дурно на похоронах. Она пошатывается, прикрывает тяжелые веки. Борясь с дурнотой, открывает синие глаза снова, сама уже синяя, под черным своим тяжелым платком. Если упадет – затопчут, так что падать нельзя. Разрезал туловищем толпу, движение, отработанное в стычках с люберами. Легко толкнул плечом детину в кожанке – на усах и ниже по бороде пляшут россыпи слез.

– Не на концерте же. – Он пытается ворчать, но все равно всхлипывает.

Сделал несколько шагов, взял девочку под руку, буркнул ей в ухо по возможности ласково:

– Тебе, кажется, плохо. Давай отойдем, сядешь.

Девочка слабо кивнула и, переставляя непослушные ноги, оперевшись на меня всем весом, двинулась со мной. Я вывел ее из толпы и усадил на скамью у могилы какого-то старика. Девочка очень хотела держать глаза открытыми, но они закрывались. Я выудил из-за пазухи початую бутылку водки. Открутил пробку и сунул ей под нос. Девочка дернула головой и сфокусировала взгляд на мне.

– Ты кто?

– Позор семьи, конечно. Пить будешь?

Она помотала головой, но бутылку взяла. Глотнула, поморщилась.

– На вот, занюхай.

Протянул ей ветку сирени, по-хозяйски сорванную с могильного куста.

– Жаль, не цветет еще, недельку бы подождать.

– Чтоб она еще недельку там одна, в реке?

Протяжный, долгий вой покатился по кладбищу. Засыпают, значит. Пока, покойница.

– В феврале вот только на концерт в Иркутск мотался. Третья полка в плацкарте, еле ноги потом разогнул.

Осекся, впрочем. Какой плацкарт, какие ноги. Здесь и сейчас рок-н-ролл косит своих солдат.

– Я вот подумал. Ее же в Ине нашли, верно? А сама она Яна. Это же почти июль-январь.

– Человек умер, и какой. А ты стишки глупые говоришь.

Помолчали. Мимо прошли ребята, один окликнул, есть ли выпить. Я помотал головой. Девочка глядит на меня – ну, мол, и крыса.

– А тебе вот платок идет.

– Да то мать на две банки консервов сменяла. «Как ты на похоронах без платка, не порядок» – ей главное, чтобы порядок был.

– А тебе что главное?

Задумалась, посмотрела на меня внимательно. Кто знает, может, у старика, у которого мы присели, тоже когда-то были синие глаза.

– Свобода главное. Хожу где хочу. На учебу нужно, а я здесь. Потому что быть там должна кому-то, ну, не знаю, обществу. А быть здесь должна себе.

Набор печальных и нежных открыток, которые будешь держать в фотоальбоме, пока неизвестный потомок не размалюет твою память до дыр. Открытка с котиком – мы с Нюрой аскаем в подземном переходе, я на акустике – все цивильно, колоночка, звукосниматель. Нюра поет, звонко и выше ели, пусть и все песни, конечно, про смерть.

Девочку звали Нюра. Тем днем я узнал, что ей никак не дается баррэ и что надо купить общую тетрадь для стихов, ведь исписаны уже три. Фенечки держатся на запястье не дольше недели, а потом друзья находят их, привязанными, у оградки вяленькой клумбы, в районе, куда Нюра отродясь не совала носа.

– Мистика, мистика, – шипит Нюра загадочно и тут же смеется шутке.

Кладбища Нюре даже нравятся, хотя похороны, конечно, нет. Учеба на оператора ЭВМ – страшная скука, скучнее только стоять на рынке и пытаться выменять швейную машинку на диван. Нюра ходила месяц по выходным, потом ее сменила мать, и спустя несколько часов в квартире красовался бордовый, ни капельки не потертый, даже какой-то импортный – диван. Уюта Нюра не любила, но была счастлива отвертеться от своей рыночной голгофы.

– Возня мышиная. – Возню и мышей Нюра презирала всем сердцем.

Потом было долгое лето. Набор печальных и нежных открыток, которые будешь держать в фотоальбоме, пока неизвестный потомок не размалюет твою память до дыр. Открытка с котиком – мы с Нюрой аскаем в подземном переходе, я на аку-

стике – все цивильно, колоночка, звукосниматель. Нюра поет, звонко и выше ели, пусть и все песни, конечно, про смерть. Кто сыпет мелочь, а кто тумачи, но на пиво нам как-то хватило, в парке, на траве, под возмущенные взгляды прохожих. Открытка с белочкой – мы на вписке, во главе стола спирт «Рояль», сухари и майонез. Я галантен, развлекаю «Рояль» для Нюры свежей водопроводной водой. Много песен, странные танцы. Нюра кружится на месте, расставив тонкие руки, и валится на матрас. Комната плывет, земля вертится, Нюру рвет. Ташу ее в туалет, держу волосы. Изо рта слабенькой, бледной Нюры извергаются тугие бурые фонтаны. Возвращаю Нюру на матрас, зову рядом с ней спать другую очень пьяную девочку, опрокидываю еще один «Рояль» и ложусь к ним в ноги. Открытка с голубками – мы с Нюрой вдвоем в лесу, август и как-то поухло пахнет сосновыми иглами. Нюра болтает всякие глупости, Нюра не хочет снова учиться, Нюра считает, что двадцать пять – это почти пенсия, напевает под нос и совсем меня не слушает. Я провожаю Нюру до подъезда, и тот случайный единственный поцелуй мучил меня до ломоты в зубах всю ночь.

Нюру нашли на рельсах в конце сентября. Ходили пустые слухи, но мне плевать на очередность последних Нюриных дел. Безвременье, в которое я провалился без нее, длится и ныне, когда я, теперь уже стриженный и в рубашке, скучаю на кафедре. В отчаянье синего неба мне чудятся Нюрины глаза.

